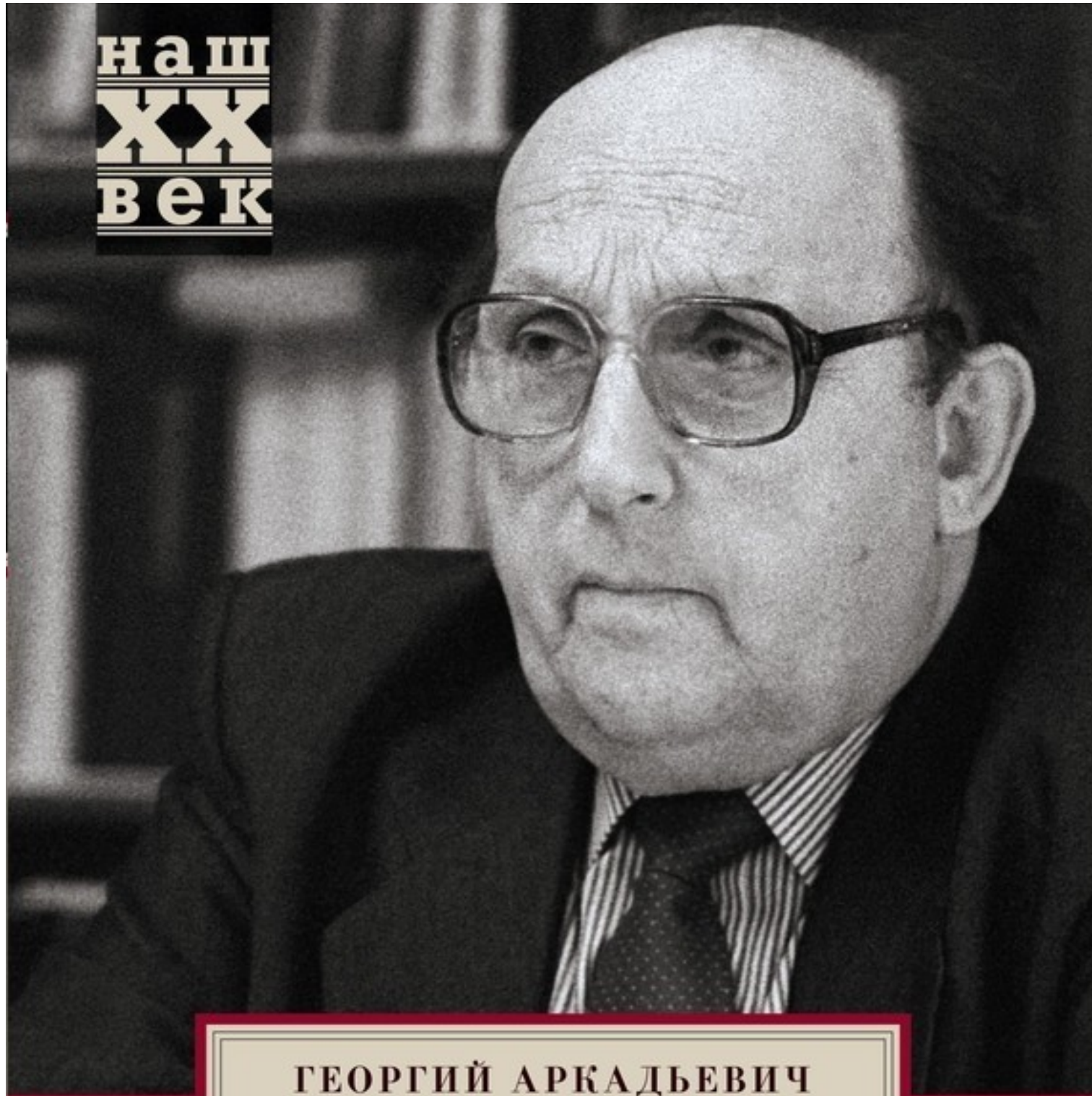


наш
XX
век



ГЕОРГИЙ АРКАДЬЕВИЧ

АРБАТОВ



ЧЕЛОВЕК
СИСТЕМЫ

Наш XX век

Георгий Арбатов
Человек системы

«Центрполиграф»

2002

УДК 929
ББК 63.3-8

Арбатов Г. А.

Человек системы / Г. А. Арбатов — «Центрполиграф»,
2002 — (Наш XX век)

Георгий Аркадьевич Арбатов пришел в систему при Хрущеве и покинул ее при Ельцине. Однако его мемуары – взгляд не только в прошлое, но и в будущее: в них содержится оценка перспектив российско-американского сотрудничества, международных отношений в новом столетии. Советник главы государства – фигура не слишком публичная. Интервью с ним не публикуют на первых полосах газет, фамилия его не мелькает в списках влиятельных политиков мира. Но все события большой политики происходят с его участием. Он консультирует своего патрона, готовит его речи на международных форумах и встречах на высшем уровне. Он зачастую во многом формирует мнение лидера по тому или иному вопросу. Он – неотъемлемая, хотя и не всем заметная часть системы, именуемой верховной властью.

УДК 929
ББК 63.3-8

© Арбатов Г. А., 2002
© Центрполиграф, 2002

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Почему я взялся за перо | 6 |
| Моя семья, моя юность и моя война | 11 |
| Пробуждение | 28 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 29 |

Георгий Арбатов

Человек системы

Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

© Г.А. Арбатов, наследники, 2015

© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015

© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015

Почему я взялся за перо

Вместо предисловия

Время моей активной работы в науке, журналистике и политике пришлось на очень важный, захватывающе интересный, а для участника событий – трудный, таящий немало опасностей и риска период истории нашей страны. Все, что выпало за последние семьдесят – восемьдесят лет на ее долю, так или иначе коснулось моего поколения, то есть тех, кто родился в начале двадцатых годов.

Себя мое поколение хорошо, можно сказать, внятно помнит начиная с тридцатых. Помнит и многократно воспетую героиню созидания тех лет – о ней я и мои сверстники знали как по газетам, книгам, фильмам, речам политиков, так и – не в последнюю очередь – от очевидцев, в том числе родных и их друзей. Помнит и все, что сделало тридцатые годы одним из самых мрачных десятилетий в долгой истории нашей многострадальной страны: раскулачивание и голод, начало ликвидации самого многочисленного класса страны – крестьянства. И конечно – массовые репрессии, которые так или иначе коснулись десятков миллионов. Это тоже мои ровесники видели, прочувствовали и никогда не забудут. Могу судить по себе – для меня репрессии не были чем-то далеким и абстрактным. Они буквально выкосили родителей моих друзей, так же как друзей моих родителей, коснулись родственников, а затем и моего отца. Хотя ему по тем временам невероятно повезло: он отсидел, будучи обвиненным по печально знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса в «контрреволюционном саботаже», «только» год и был освобожден из тюрьмы, как значилось в выписке из постановления трибунала, «за отсутствием состава преступления», что, впрочем, до самой смерти Сталина не избавило его, а в какой-то мере и меня от многократных проявлений политического недоверия, даже политической дискриминации.

И совсем уж прямой наводкой ударила по моему поколению война. Военную форму я надел 21 июня 1941 года, то есть буквально накануне войны. Первый раз я «понюхал пороха» под Москвой в октябре 1941-го, а потом, наскоро закончив училище, попал на фронт уже всеерьез. Отслужив несколько месяцев начальником разведки дивизиона реактивных минометов, в восемнадцать лет я командовал батареей катюш, а затем служил на других боевых должностях. «Свою войну» закончил в 1944 году, двадцати одного года от роду, капитаном, начальником разведки полка, инвалидом Отечественной войны II группы, демобилизованным вследствие острого – тогда, до изобретения новых лекарств, почти всегда смертельного – туберкулеза легких. Я оказался среди относительно немногих счастливчиков, которым помогли пневмоторакс и хирургическая операция.

Как студент, потом издательский редактор и журналист, я пережил, пусть далеко не в полной мере, то, чем после войны болела страна. Получилось так, что я уже многое понимал, хотя, наверное, тогда до конца так еще и не осознавал всю ложь, глупость и изуверство происходящего – послевоенные идеологические погромы и новые вспышки политических репрессий.

И наконец, как редактор, журналист, участник теоретических работ, готовившихся по решению ЦК КПСС, затем как сотрудник аппарата ЦК, а в завершение как руководитель одного из крупных академических институтов, исследующих политику, и один из советников высшего руководства (от Брежнева до Ельцина), наблюдал вблизи и переживал обнадеживающее и вместе с тем затянувшееся на десятилетия «выздоровление» от сталинизма, тяжкий, противоречивый, часто мучительный процесс, медленное, неуверенное движение народа и страны

к нормальной жизни, к нормальному состоянию. А иногда так или иначе принимал участие в событиях, из которых складывался этот процесс.

Собственно, обо всем этом пока еще трудно писать в прошедшем времени. Процесс далеко не закончился. Он и сейчас требует от людей с чувством гражданственности ясной позиции и посильного участия. Я этот социальный вызов, давление ответственности ощущаю почти физически. Не только из-за официальных постов, которые занимал, будучи депутатом Верховного Совета СССР, затем народным депутатом СССР (а в течение многих лет и членом ЦК КПСС), но прежде всего как сын своего времени.

Благодаря моей причастности ко многим важным событиям мне пришлось встречаться, а нередко и работать с крупными политическими и общественными деятелями, в частности с О.В. Куусиненом, Ю.В. Андроповым, Л.И. Брежневым, М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным. Если же говорить о знакомстве, беседах, то и с десятками других представителей советского руководства шестидесятых – девяностых годов; а кроме того – и со многими видными зарубежными лидерами и известными общественными деятелями. Мне давно уже советовали написать о том, что запомнилось, положить на бумагу свои наблюдения и рожденные ими мысли. Эта идея превратилась в неодолимое искушение в годы перестройки, когда наконец открылась возможность сказать если еще не всю, то почти всю правду и о весьма горьком и деликатном, ранее запретном.

Осуществить эти планы оказалось, однако, делом более трудным, чем я поначалу предполагал. И не только потому, что непросто было выкроить время. Более сложным оказалось другое: в последние годы быстрые темпы набрали общественные перемены, менялись наши представления о прошлом и настоящем, о правдивости, о ценности суждений, в связи с чем планка требований к себе и к тому, что пишешь, непрерывно поднималась.

Скажу честно: первые заготовки появились в 1987 году. Но, возвращаясь к ним, я каждый раз переписывал почти все, с начала до конца. В том числе и потому, что раба, говоря конкретнее – раба привычных представлений, взглядов и условностей, – действительно удается выдавливать из себя лишь по капле. Не говорю уже о том, что передо мной, как и перед каждым пишущим мемуары, стояло два искушения. Одно – свести задним числом счеты с людьми, которых я не любил. И второе – изобразить себя, опять же задним числом, более умным, смелым и честным, чем я в действительности был. Надеюсь, мне удалось эти искушения преодолеть. Так или иначе, но пришел момент, когда я все же набрался решимости и поставил точку.

Не потому, что все уже понял и во всем разобрался, – наверное, это не так. Но мне казалось крайне важным, чтобы такие люди, как я, уже начали все вместе создавать, писать и публиковать обстоятельную историю послесталинской эпохи.

Это не значит, конечно, что тема самого Сталина и сталинщины исчерпана. Это не так. Но мы иногда забываем, что Сталин был у власти тридцать лет, а со дня его смерти прошло почти полвека – очень трудные, неровные, противоречивые годы. Я убежден, что главным их историческим назначением и содержанием как раз и было исцеление общества от страшной болезни тотальных деформаций, его восстановление начиная с самих основ: экономических, политических, интеллектуальных и нравственных.

Мне не раз приходило в голову: может быть, мы даже не вправе жаловаться, что дело исцеления от наследия тоталитаризма идет так медленно. Может быть, нам, при всех пережитых проблемах, еще повезло, если, конечно, и в дальнейшем этот процесс будет идти и нам удастся его успешно завершить. История дает много примеров, когда после тоталитарных деспотических диктатур следовали либо длительные эпохи безвременья, либо даже распад государства и общества.

Послесталинские десятилетия дали нам опыт – возможно, наряду с первой половиной двадцатых годов самый важный из всей нашей послереволюционной истории, опираясь на который мы можем продвигаться к всесторонней реформе столь деформированного общества.

Однако попыток не только осмыслить, но даже описать то, что происходило, пока не так уж много, а если говорить о качественных, честных и глубоких работах – то их совсем мало.

Эти публикации, естественно, различаются по степени достоверности, глубине мысли и литературным достоинствам. Я не берусь и не хочу здесь их оценивать. Но, какими бы ни были их достоинства и недостатки, такие публикации – это еще далеко не история послесталинской эпохи.

Почему еще так малочисленны публикации, посвященные этой совсем недавней истории нашей страны? Не знаю. Хочу надеяться, что их будет больше. Тем более что документов, на отсутствие или недоступность которых часто ссылаются, возможно, окажется не так уж много и тогда, когда архивы откроются полностью. В последние десятилетия, насколько я знаю, не стенографировались, а часто и не протоколировались обсуждения и дискуссии на политбюро, где вершились все сколько-нибудь важные дела. В постсоветский период в смысле документирования политики положение стало еще хуже. Большая часть появлявшихся книг скорее была нацелена либо на «самовывдвижение», либо на самооправдание и поношение политических противников. Ну а писание обстоятельных писем, эпистолярный жанр как таковой, так же как ведение дневников – какими же бесценными были эти источники для летописцев многих предшествующих периодов! – оказались почти сведенными на нет в суровую сталинскую эпоху. Мешал прежде всего всеобщий страх. Не располагали к пространным письмам и дневникам также бурный темп эпохи, ее стиль и образ жизни и мыслей.

Потому, я думаю, пока живы свидетели, пока остались очевидцы событий этого важного и сложного периода нашей истории, тем более те, кто в них в той или иной мере участвовал, надо дать им высказаться – какой бы скромной ни была их роль в том, что происходило.

Должен сказать, что эти аргументы я не раз приводил сам себе, чтобы преодолеть не только свойственную каждому леность, но и какие-то внутренние, психологические барьеры. И это помогло решиться. Хочу сразу же оговориться, что не претендую на многое. Эта книга – прежде всего рассказ о том, что я помню о некоторых важных эпизодах того поистине мучительного пути, которым шло после смерти И.В. Сталина и XX съезда КПСС раскрепощение нашей общественно-политической мысли и политики. При этом я понимаю, что систематическая история развития политики и политических взглядов после смерти Сталина может быть написана лишь в результате многолетних усилий многих людей.

Тема эта – трудности процесса раскрепощения людей, общества и прежде всего нашей общественно-политической мысли – особенно интересует меня по двум причинам.

Одна – чисто субъективная. Мне она ближе, я просто лучше знаю эту сторону усилий, связанных с преодолением последствий сталинщины.

И другая – объективная. Состоит она в огромном, поистине критическом значении самого раскрепощения мысли (еще далеко не закончившегося) для обновления страны, для перестройки, для всего нашего будущего.

Прекрасный писатель Чингиз Айтматов поведал (а может быть, и сочинил) легенду о манкуртах – людях, которым с младенчества туго затягивали лоскутами сыромятной кожи черепа, обрекая тем самым на недоразвитость мозга, чтобы превратить в безропотных, послушных рабов. Одно из самых опасных проявлений сталинщины как раз и состояло в упорных, последовательных, длившихся десятилетиями попытках духовно оскотить людей, при помощи безжалостных репрессий и тотальной пропаганды сделать их бездумными винтиками тоталитарной государственной машины.

Этот замысел осуществить в полной мере не удалось – иначе просто не состоялись бы ни XX съезд, ни перестройка. Но многого, очень многого Сталин, его окружение добиться смогли. И это тяжело сказалось на всех сферах духовного творчества, духовной жизни: на культуре и искусстве, на общественных, а в какой-то мере и естественных науках. И в целом – на общественном сознании.

Если нужны были тому еще какие-то символические свидетельства, то их дала сама смерть «великого вождя». Когда общество – во всяком случае, его большинство – поначалу оцепенело в глубоком вселенском горе, в совершенно иррациональном страхе перед будущим. И даже некоторые из его совестливых, думающих представителей публично (и, я уверен, искренне) провозглашали, что главной задачей отныне становится достойно воспеть почившего вождя, в дополнение к уже существующим тысячам памятников соорудить какой-то невообразимый, невиданный памятник на многие века в умах и душах людей. Символом этого массового помешательства (не буду отрицать – тогда мне оно таким не представлялось, я переживал и горевал, как, за редкими исключениями, все вокруг) стали дни «прощания с вождем» – настоящая кровавая тризна, когда в Москве обезумевшей толпой, рвущейся к Дому союзов, где лежало выставленное для прощания тело «вождя», были насмерть затоптаны многие сотни, если не тысячи людей.

Но еще тягостнее символов было реальное положение в духовной жизни общества. Самыми серьезными последствиями для общественного сознания стали его оскудение, опасный подрыв интеллектуального потенциала общества, с особой очевидностью выразившийся в упадке общественно-политической мысли. Печальный парадокс: как раз когда Российская революция провозгласила высокие цели построения блаженствующего, свободного общества, сделав еще более острой потребность в передовой творческой мысли, способной высветить неизведанные пути вперед, она была ценой невероятных жестокостей втиснута в прокрустово ложе сталинского догматизма. За это пришлось – и до сих пор приходится – платить дорогой ценой.

Незадолго до 70-й годовщины Октябрьской революции, обдумывая предстоявшее, весьма ответственное для меня выступление на пленуме ЦК КПСС, я попытался найти хоть примерные, каким-то образом измеримые и сопоставимые параметры этой цены. Наверное, одним из них могло бы быть развитие теории, пусть только в допускавшихся тогда рамках ортодоксального марксизма. Имея это в виду, я отсчитал 70 лет не вперед, а назад от 1917 года. И с некоторым удивлением обнаружил, что оказался в 1847 году, то есть за год до того, как был написан «Манифест Коммунистической партии», работа, которую, собственно, считают началом марксизма как теории.

И вот в первые 70 лет уложились не только все творчество Маркса и Энгельса, но и огромная часть того, что написал В.И. Ленин, – от его самых первых работ и до «Государства и революции». На эти же первые 70 лет пришлось труды Бебеля и Плеханова, Каутского и Либкнехта, многих других мыслителей. А на вторые 70 лет?

Были, конечно, принципиально важные, но только начатые ленинские разработки новой экономической политики (НЭП) и вообще перевода российской революции в русло «нормальных», а не чрезвычайных условий развития. Было немало интересного в творчестве видных деятелей нашей и других коммунистических (как, впрочем, и социал-демократических) партий. Но из-за сталинских репрессий, всей духовной атмосферы культа личности они не вошли в теоретический оборот и оказали очень незначительное воздействие на умы людей и тем более на практическую политику страны. Примерно та же участь постигла принципиально важные решения VII конгресса Коминтерна о едином фронте, единстве коммунистов, социалистов, демократических сил всех стран, правда запоздавшего и никогда не пользовавшегося симпатией Сталина. И много позже пришли сыгравшие большую политическую роль, но не получившие тогда должного теоретического развития положения XX съезда КПСС, подвергнутого критике Сталина и сталинизм. Словом, творческий послужной список 70 послереволюционных лет оказался более чем скромным; были отринуты все теории, кроме единственной, государственной – марксизма, на деле сведенного к убогим догмам сталинизма.

Что касается общественно-политической мысли за рубежом, то для советских людей, включая подавляющее большинство специалистов, ее развитие закончилось в начале XX века

теми философами и политологами, которых критиковал Ленин (Мах, Авенариус, Каутский, Бернштейн). И знали их только по критике – у Ленина, правда, такой, что можно было еще себе как-то представить суть взглядов критикуемого. В последующие годы о том, что делается за рубежом, узнать становилось еще труднее. Зарубежная литература ушла в «спецхраны», где хранилась как «секретный» (когда цензор ставил штамп с одним шестиугольником, внутри которого был присвоенный ему номер, – в просторечии это называли «гайкой») или «совершенно секретный» (две «гайки») документ. Даже специалистов к ней допускали с трудом. Остальные же могли знакомиться с зарубежной мыслью лишь по трудам наших критиков – но кроме ругательств, уничтожающих эпитетов и прямых измышлений там, как правило, трудно было что-либо найти.

Это нанесло огромный вред. Не только студенты, но и специалисты, большая часть ученых просто пропустили несколько важных десятилетий развития мировой общественной мысли. Мы не можем уйти от вопроса: почему все это произошло?

Я думаю, отвечая на него, было бы неверно возлагать вину только на сам марксизм. Он долгое время развивался как открытая к переменам, гибкая теория, не боявшаяся отказа от старых представлений, впитывающая новое. Наверное, поэтому марксизм и оказал заметное влияние на развитие мировой общественно-политической мысли. Хотя «универсализм», претензия на то, что все в теории объяснено и имеет всеобщий характер, закладывали основы для последующих извращений. Так же, как решительное неприятие других точек зрения.

А при Сталине, как известно, теория была обращена сначала в догму, а затем в религию. К тому же у верующих, если следовать этой аналогии, поспешили отнять сначала Ветхий, а затем и Новый завет – я имею в виду настоящий смысл трудов Маркса и Энгельса, отчасти Ленина. И оставили им один лишь «псалтырь» в виде «Краткого курса истории ВКП(б)» (особенно его печально знаменитой четвертой главы) да пары сборников брошюр, статей и речей «великого вождя».

Ведь это тоже трагедия, духовная, интеллектуальная трагедия, которую пережила гордая своей победой революция, вдохновленная, как утверждал марксизм, всем научным и культурным развитием человечества, призванная стать восприимчивым и приумножителем этого великого наследия.

Да, нас постигла трагедия. Но трагедия – это еще не гибель, не утрата всех надежд. И я хочу рассказать о некоторых первых попытках преодолеть эту трагедию, освободиться интеллектуально, духовно.

Но вначале, без чего в мемуарах не обойтись, немного о себе, своей семье, детстве и юности, в том числе и юности военной.

Моя семья, моя юность и моя война

Я не хотел делать эту книгу чрезмерно личной, уделять много места себе, своей биографии и тем годам моей жизни, которые не имеют прямого отношения к главной теме: описанию послесталинской эпохи. Но сама внутренняя логика темы заставила меня, уже после того как книга была вчерне закончена, написать о личном – о семье, юности, военных и студенческих годах – отдельную главу. Как сформировались мое мировоззрение, политическая позиция, которые лежат в основе тех или иных оценок описываемых событий? И поскольку всякие воспоминания в какой-то мере субъективны – в чем может состоять моя собственная субъективность, какую «скидку» на нее должен делать читатель?

Итак, начну с корней, с семьи. Дальше дедов и бабушек я своей «генеалогии» не знаю – очень уж простонародным является мое происхождение. А в среде простых, «неродовитых», обычных людей не очень принято интересоваться далекими предками. Да и трудно было это делать в вихре перемен и постоянных перемещений.

Мой отец, Аркадий Михайлович Арбатов, ушел из жизни в 1954 году, за несколько дней до того, как ему должно было исполниться 54 года. Я, уже взрослый человек (мне было 31 год), тогда еще не понимал, каким молодым, в сущности, был отец. И какую тем не менее большую и сложную жизнь он прожил. Это я начал осознавать позже, особенно по мере того, как становился ровесником, а потом и «старше» своего отца. Но уже сразу после его смерти и долго потом меня не покидало острое чувство утраты, даже чувство вины оттого, что я с ним о столь многом «недоговорил».

Отчасти оно, наверное, обычно при утрате близкого человека. Только после его смерти мы спохватываемся, начинаем понимать, как важен и близок он нам был, и жалеем о каждой упущенной минуте общения. Но что касается моих отношений с отцом, то для этого была еще одна причина; по-настоящему откровенно, открыто он стал со мною разговаривать лишь в последний год своей жизни, хотя понимать друг друга мы начали раньше. Чтобы было ясно, о чем я говорю, должен хоть коротко рассказать о жизни отца.

Он родился в 1900 году в бедной еврейской семье в одной из захолустных сельских волостей тогдашней Екатеринославской губернии (в советские времена – Днепропетровская область Украинской ССР). Это была довольно редкая для тех времен семья колонистов, евреев-крестьян, как я могу догадаться, не очень удачливых, настолько бедных, что с радостью пристроили отца в ремесленное училище в Одессе, где он начал самостоятельную жизнь семи лет от роду. Вот это и был его «университет». О своих годах в этом учебном заведении он рассказывал мало – знаю, что жизнь была бедной и трудной. Окончив училище, отец работал рабочим-металлистом (модельщиком) на одном из заводов в Одессе. В феврале 1918 года вступил в коммунистическую партию (в политической деятельности он, как и многие его сверстники, в эти бурные годы начал участвовать очень рано – в 17 лет). Потом пошел на Гражданскую войну. А когда она окончилась, жил обычной для коммунистов тех лет жизнью – его перебрасывали то на партийную, то на хозяйственную работу. Какое-то время трудился на селе, потом судьба забросила его в Херсон, где он женился, где потом родился я. Отец через пару лет был назначен директором консервного завода в Одессе, а в 1930 году, как тогда практиковалось, по рекомендации присланной для отбора кадров из Москвы комиссии был отправлен на зарубежную работу – в торгпредство СССР в Германии.

Там мы жили до 1935 года, и я скажу ниже о своих впечатлениях и о том, какое влияние эти годы оказали на мое миропонимание.

С 1935 года отец работал в Наркомате внешней торговли, откуда вместе с большинством других, оставшихся на свободе коммунистов с «досталинским» партийным стажем был вскоре

изгнан и устроился на работу заместителем директора Библиотеки имени Ленина по административной части. А затем и его не миновала горькая чаша – он был арестован. После освобождения и до самой смерти был на хозяйственной работе (последний скромный, но очень хлопотный пост – директор строительной конторы Министерства лесного хозяйства РСФСР).

Но вернусь к своему ощущению, о чем мы с отцом «недоговорили». Оно родилось не потому, что нас что-то разделяло, вносило в отношения отчуждение. Нет, мы были душевно близки, много общались, я его глубоко уважал, с ним советовался, к его мнению прислушивался. Отец – я это ощущал тогда, думаю так и теперь, несмотря на отсутствие хорошего, сколь-нибудь основательного образования, – был человеком больших знаний, необычного ума и завидной одаренности. Помню с детства, как, к моему удивлению, он за несколько месяцев изучил немецкий и так же быстро французский языки (мы в 1935 году четыре месяца жили в Париже), читал по-английски, занимался переводами переписки Энгельса и, что я оценил уже позже, став студентом, а затем издательским редактором и журналистом, хорошо разбирался в политике и экономике. Ко мне он тоже относился с доверием, гордился и тем, что я участвовал в войне, и моими первыми газетными и журнальными статьями.

Но при всем этом было много тем, на которые отец категорически отказывался со мной говорить. К их числу относились, конечно, Сталин, а также внутрипартийная борьба двадцатых – тридцатых годов, массовые репрессии, коллективизация. О ком-то конкретно из своих репрессированных знакомых или друзей он мог сказать, что уверен в его невиновности. Или рассказать, что кто-то оказался доносчиком, предал своего друга. Но никаких обобщений! И никаких (кроме чисто бытовых) подробностей о собственном аресте. А тем более – ничего о «вождях». Почему?

Я не раз размышлял потом о причинах такой осторожности отца. Когда я был мальчишкой, это было понятной осмотрительностью, чтобы я не сболтнул никому из друзей, а от них не пошло бы дальше. Ну а когда я уже стал взрослым, пришел с войны и он мне мог верить и верил как самому себе?

Я задал этот вопрос отцу уже после смерти Сталина и ареста Берии (как раз с обсуждения этого события начался новый, к сожалению, очень короткий период наших доверительных бесед). И он мне ответил, что ему самому, при его опыте и закалке, стоило огромного труда сохранить какую-то политическую и моральную целостность, не извериться вконец, не стать прожженным циником, зная ту правду, которую он знал. И он боялся обременять ею меня, тем более что времена становились все более трудными и все сложнее было совместить то, что знаешь и понимаешь, не только с верой в какие-то идеалы, но даже и просто с нравственным, душевным равновесием. «Я боялся за тебя, – сказал отец. – И, конечно, за всю семью; если бы ты где-то сделал глупость, несчастье могло обрушиться на всех». И потому он предпочитал молчать, «крутил шарики», как говорила в сердцах мать (у отца была привычка крутить в пальцах шарики из того, что попадалось под руку, – обрывков бумаги, крошек хлеба и т. д.), хотя мог быть веселым и оживленным (особенно после рюмки-другой, а этим удовольствием он не пренебрегал, хотя и не злоупотреблял). Но и тогда о политике говорил редко.

Должен признать, что в те трудные времена не только его, но и меня в немалой мере спасала интуиция. Он на некоторые темы не говорил, а я опасных вопросов не задавал, не отдавая себе даже до конца отчета в причинах своей сдержанности. Тяжкие времена вырабатывали какое-то «шестое» политическое чувство (если оно не срабатывало – ты был обречен). Ведь уже лет с четырнадцати-пятнадцати я хорошо понимал, что сажают, уничтожают и совершенно невиновных, хороших, честных, преданных своей стране людей. Я знал многих из них – это были родители моих товарищей, друзья моего отца. И я тогда вполне допускал, что и отца могут арестовать, каждый вечер в 1937–1938 годах ложился спать с тревогой, даже произносил про себя какое-то подобие «мирской» молитвы: «Только бы не арестовали отца!» Тем более что жили мы тогда в доме наркоматов иностранных дел и внешней торговли, откуда чуть ли не

каждый день (точнее – ночь) «брали» по несколько человек. В моем классе у доброй половины учеников родители были арестованы, и ребята проходили через омерзительный и унижительный ритуал отречения от отца или от матери.

И я очень рано понял, «ощутил кожей» некоторые реальности тогдашней жизни. Возможно, это меня спасло. Трех или четверых сверстников, с которыми я дружил, арестовали и осудили, хотя они были несовершеннолетними. Нескольких других, как я узнал позже, завербовали в осведомители.

После смерти Сталина и первых симптомов того, что времена начали меняться (реабилитации «врачей-убийц», ареста Берии, первых упоминаний в газетах тогда еще анонимного «культа личности»), отец впервые начал мне рассказывать. Преимущественно не о двадцатых годах (проживи он дольше, наверное, дошли бы и до этого), а о более жгучих, оставивших в его (а через него – и в моей) жизни очень глубокий след тридцатых.

Я не узнал от него больше того, что сегодня знает почти каждый. Наверное, он и сам тогда многого еще не осознал – я заметил, что в сталинские годы страх отучал людей не только говорить, но часто и думать о запретном. Мысли не всегда удается до конца скрыть, и, когда за человеком все время бдительно и профессионально следят, рано или поздно почти каждый себя выдает. В этом Джордж Оруэлл, пожалуй, прав. Но он, по-моему, не осознал до конца, что деспотический режим вырабатывает у замордованных подданных особые механизмы самозащиты, контролирующие не только язык, но и мысль.

Из запомнившихся тогдашних разговоров: отец строго делил своих партийных сверстников, людей, участвовавших в революции и в том, что за ней последовало, на четыре категории.

Первая – это фанатики. Такие, как говорил он, наверное, есть при каждой идее, каждом деле; это скорее даже не убежденность, а состояние ума и психики. Они будут верить, несмотря ни на что. Были такие и среди его друзей, некоторых и я видел у нас в доме. Он мне рассказывал, что как-то, в 1938 году, одному из них – члену коллегии Главсевморпути П.Г. Куликову, своему товарищу со времен Гражданской войны – задал вопрос: что же происходит, как это один за другим «врагами народа» оказываются люди, которые беспрдельно преданы партии и стране? И назвал несколько имен. А в ответ услышал гневную филиппику: «Аркадий, как ты, честный коммунист, можешь такое даже думать – надо полностью доверять партии, Сталину». По иронии судьбы в ту же ночь самого П.Г. Куликова арестовали. Он каким-то чудом выжил, вернулся из лагеря уже после смерти отца, был реабилитирован, восстановлен в правах, стал уважаемым персональным пенсионером. Мы встречались, беседовали – я поддерживал с ним в память об отце добрые отношения до самой его смерти. Что поразительно: даже пережив все, что выпало на его долю, он остался если не фанатиком, то слепо верующим. И хотя теперь уже не боготворил лично Сталина, с пеной у рта защищал созданный им режим, установившиеся при нем порядки. Я как-то в сердцах после одного горячего спора ему сказал: «Таких, как вы, Петр Григорьевич, зря сажали, но зря и выпускали: дай вам волю – и вы все вернете к старым временам». Он даже не обиделся...

Вторая группа – безжалостные и беспринципные карьеристы. Они могли приспособиться к любому режиму, и чем более жестоким был режим, тем больше возможностей открывалось для их карьеры. Были такие люди и в «старой гвардии», среди большевиков с большим, даже дореволюционным стажем. Отец называл некоторые фамилии, но я их не запомнил – речь шла о людях не очень высокого положения, таких как и сам отец. Ну а еще больше циничных карьеристов было среди тех, кто сформировался, занял какие-то посты позднее, уже в период массовых расправ, лжи и доносов.

Третья группа – «неподлые циники». Они просто ни во что не верили, только притворялись, что верят, ради положения и карьеры. Но при этом избегали (по возможности) подлостей, не были готовы с радостью шагать по головам других. К таким людям (их было немало среди приятелей и знакомых отца) он относился без уважения, но вполне терпимо и даже доб-

родушно. Отвечая как-то на мой вопрос относительно конкретного его товарища, отец сказал: «Большинство – это ведь и не герои, и не злодеи. Они просто хотят выжить, и не надо презирать тех, кто пытается это сделать без подлостей, не губя других».

Ну и, конечно, в-четвертых, были «разумно верующие». Ради идеи они готовы были беззаветно трудиться, но они не могли предать других, делать карьеру на их костях. Не фанатики (верили они уже не всему), но и не циники. Таким был он сам.

Конечно, встречались в годы сталинщины и настоящие герои «сопротивления», хотя было их очень немного. Отвечая на мой вопрос, верили ли он и его друзья во все версии о «врагах народа», включая громкие процессы 1936–1938 годов, отец сказал, что в душе он и (он уверен) многие из друзей не верили. Но, исключая самых близких товарищей, друг с другом об этом не говорили. Мы, заметил он, быстро поняли, что арестованных пытаются, хотя не сразу могли поверить, что выбивают не только признания, но и ложные показания. Я как-то спросил, неужто никто никогда не протестовал – даже из старых большевиков, прошедших, казалось бы, огонь и воду и медные трубы. Отец сказал, что таких, кто открыто выступал, было очень мало: все дело в том, что людей поначалу ловили на святой вере, затем убеждали: великое дело, мол, оправдывает любые жертвы, а когда они спохватывались, было уже поздно протестовать. Но случалось...

И он рассказал (ругая себя, что не записал тогда фамилии) о советском торгпреде в Японии, вернувшемся в Москву в 1937 году и сразу же попавшем на обычное для тех дней партсобрание в Наркомвнешторге, на котором исключали из партии очередных «врагов народа» и всех, кто не проявил в отношении их «бдительности», то есть не донес, не предал, не «разоблачил». Послушал этот человек, послушал, потом вышел на трибуну и произнес гневную честную речь: «Что происходит, до какой низости и трусости все мы опустились! Ведь мы знаем этих людей как честных коммунистов и своих товарищей, но никто за них не скажет и слова. Позор нам, стыд на наши головы, так нельзя жить...» Что-то вот в таком роде, так мне, во всяком случае, запомнился рассказ отца. Торгпред в Японии закончил свою речь. И мертвая тишина взорвалась аплодисментами – это было, говорил отец, особенно поразительным в той обстановке всеобщей запуганности и психоза. Но оратора арестовали тут же, по выходе из здания наркомата.

Такой в общем-то постыдной была тогда жизнь, несмотря на успехи индустриализации, пафос созидания, энтузиазм – хотя они были, на них и держался этот монстр кровавого самовластия.

Но вернусь к теме.

Знаю от окружающих, что отца считали добрым и терпимым человеком, многие его любили – даже сокамерники в тюрьме. Об этом тяжком годе своей жизни он тоже в деталях рассказал мне только после смерти Сталина. И, я думаю, не потому, что боялся, как бы не стало известно о нарушении им подписки «о неразглашении» (она бралась у каждого, кого освобождали из тюрьмы). Мне кажется, что до 1953 года он просто не был уверен, что ему (а может быть, и мне) не придется еще раз пойти по этому пути на сталинскую голгофу, не хотел вспоминать, гнал от себя дурные мысли и предчувствия.

Арестован он был в конце 1941 года (может, и вспомнили о нем потому, что в свое время работал в Германии, хотя заподозрить его, еврея, в сотрудничестве с нацистами могло только большое воображение тогдашних следователей) по обвинению в контрреволюционном саботаже. И решением трибунала (кажется, войск МВД Приволжского военного округа – сидел он в тюрьме в Ульяновске) был осужден на восемь лет. Председатель трибунала (и отец, и мать до самой смерти вспоминали его имя с благоговением – к сожалению, я его тоже не записал и оно не сохранилось в моей памяти), зачитав приговор, тут же ему буркнул: «Немедленно подавайте апелляцию». Отец в растерянности спросил: «Что-что?» Тот, не ответив, ушел из зала суда. Конечно, апелляция была подана, председатель трибунала тут же отменил вынесен-

ный им же приговор и передал дело на доследование другому следователю. Через несколько месяцев состоялся новый суд, и в декабре 1942 года отец был оправдан «за отсутствием состава преступления».

Он рассказывал мне о годе, проведенном в тюрьме, без горечи и обиды (да и на что, по тогдашним стандартам, было обижаться – ведь он просидел «только» год и был еще в те трудные времена реабилитирован), даже с юмором. Вспоминал, что в камере находились около сорока человек: было немало политических, в том числе бывший эстонский адмирал, несколько генералов и офицеров Красной армии, пересыльные москвичи, так как эвакуировали московские тюрьмы, и местные. Были и уголовники. К отцу и те и другие относились неплохо. В семье сохранились сувениры: вышитый кем-то из сокамерников к отмечавшемуся отцом в тюрьме двадцатилетию брака с моей матерью кисет (на это пошли выдернутые из матраса цветные нитки) и вылепленный каким-то художественно одаренным уголовником из мякиша ржаного хлеба «медальон» с профилем отца (весьма похожим) – он сохранился до сих пор, хлеб был такой по качеству, что превратился почти в камень.

Веру в идеалы, с которыми отец восемнадцать лет от роду связал свою жизнь, движимый, как я понимаю, искренним стремлением к справедливости и свободе, с отсутствием коих не мог не сталкиваться с юных лет повседневно, он, видимо, не терял до конца и в эти тяжкие времена. Хотя не мог не знать, по сколь тонкому льду он, как и все другие, ходил, как легко и быстро все могло закончиться необратимой трагедией.

Мне кажется, перенести все трудности и не сломаться ему помогло то, что он был очень деятельным человеком, фанатически преданным работе. В конце жизни он служил в строительной конторе, переживал – и, наверное, этим тоже сократил себе жизнь – каждую ее неудачу и радовался успехам, очень быстро освоил новое для себя дело и хорошо с ним справлялся. И точно так же я помню его всегда увлеченным работой в Библиотеке имени Ленина – как раз тогда, когда вводили в строй ее новые здания. И конечно же он часто вспоминал о Наркомвнешторге начала тридцатых годов – работе, судя по его рассказам, очень творческой, когда стояла задача не только дешевле купить все необходимое для индустриализации страны, но и всеми правдами и неправдами, включая рискованные коммерческие операции, заработать для этого валюту.

Но раскрылась мне лишь небольшая часть того, что знал отец. Виню я за это не только обстоятельства, но и самого себя: слишком занят был собственными делами, откладывал серьезные разговоры на потом, до лучших времен. Сейчас тут уже ничего не поделаешь.

Теперь коротко о матери – Лине Васильевне. Она была годом моложе отца, а пережила его на двадцать три года. Ее родители были крестьяне. Бабушка в молодости батрачила в Аскания-Нова у знаменитых немецких колонистов-помещиков Фальц-Фейнов, о чем я как-то рассказал их известному потомку, осевшему в Лихтенштейне, – нас все-таки свела судьба. Дед родился в Гродненской губернии, был солдатом, отслужив, подался на юг Украины, где они и встретились. Потом переехали в Херсон, обосновались на окраине в деревенской хате, жили очень скромно, до конца жизни остались неграмотными, но всех детей выучили – дали гимназическое образование. Это позволило матери впоследствии учительствовать в начальной школе. А несколько лет она работала с беспризорниками.

Мать была умной женщиной, имела сильный, твердый, иногда суровый характер (отец, наоборот, был человеком мягким). Во времена, когда под напором обрушивавшихся на него проблем отец падал духом, терялся, мать его поддерживала, возвращала ему веру в себя, мужество. А когда он оказывался без работы (все по тем же причинам: как бывший репрессированный и как еврей), что его абсолютно деморализовало, бралась за любую работу, чтобы содержать семью, не теряла бодрости и силы духа, что благотворно действовало и на отца. Все это помогло ей выдержать удары судьбы и, я думаю, даже спасти семью. Самый тяжкий для нее

год – 1942-й. Я – на фронте, отец – в тюрьме, она с моим трехлетним братом – в эвакуации в Ульяновске. Ездит в окрестные села выменивать какие-то оставшиеся вещи на продукты, чтобы прокормить младшего сына и собрать передачу отцу, которую в пронизывающую стужу несет через замерзшую Волгу и потом – по длинной крутой лестнице – наверх по обрыву...

По рассказам матери я живо представлял себе ее тогдашнюю жизнь и даже местность, где все это происходило, – как будто видел ее, хотя в жизни в Ульяновске не был. А потому, читая воспоминания Андрея Сахарова, сразу узнал это место – там недалеко от домика, где снимали угол мать с братом, был патронный завод, на котором начинал работать, добивался первых успехов, делал первые открытия и изобретения этот выдающийся ученый и гражданин. И жили они там почти год в одно время.

Конечно, мать, ее мужество и упорство спасли в те голодные времена отца и брата. А потом и меня, когда я приехал с фронта с открытой формой туберкулеза, умирающий, и она, доменивая на рынке последнее, что оставалось в семье, несла мне в госпиталь масло и мед...

Мать очень любила моего отца, тяжело перенесла его смерть, но не сломалась. Надо было еще вывести в люди младшего сына (он тогда учился в школе). Я был с нею очень близок до самой ее смерти в 1977 году. Мы часто и много разговаривали, хотя бы по телефону по нескольку раз в день. Я бывал у нее не реже чем пару раз в неделю, пока она себя прилично чувствовала, и она приезжала к нам. В последние годы ее жизни мне, к сожалению, приходилось чаще всего навещать ее в больнице. Но остроты ума, восприятия она не теряла до самого конца. Потому что это были полноценные, интересные встречи, из которых я много узнал и о семье, и о себе самом. Да и о стране. Мать отличалась трезвостью взглядов, наблюдательностью, умением найти нужные слова даже для сложных явлений и событий. Словом, говорили мы много. И для меня это было важно и полезно. Тем не менее меня до сих пор мучает совесть – мог бы уделить ей больше внимания, больше помочь. Но это, повторяю, наверное, даже нормально, у всех нас сохраняется ощущение неоплаченного долга родителям.

Себя я помню лет с пяти-шести, но только отдельными эпизодами, выхваченными из потока событий неподвижными кадрами, запечатлевшимися в памяти как фотография в альбоме.

Я с бабушкой (она была верующей, мечтала о том, чтобы меня тайком крестить) в церкви: все торжественно, непонятно и немножко страшно.

Со сверстниками спускаемся с головокружительно высокого обрыва к морю (это на даче под Одессой) – мне очень страшно, но я иду с ребятами, а потом счастлив, что не струсил.

Или – поездка с отцом (на извозчике, машины у него не было) на завод, где он был директором. Самого завода не помню – мое внимание всецело захватывала «чумная гора», мимо которой проезжали, захватывала именно тем, что там хоронили погибших во время эпидемии чумы, и вот это поразило воображение: эпидемия, мор, как мне чудилось, целая гора из скелетов, останков погибших, присыпанных землей. На деле, конечно, было не так, на этом холме просто открыли в те печальные годы специальные кладбища.

С семи лет воспоминания становятся более систематическими и живыми. И потому что я стал постарше, и потому что в нашей жизни произошла перемена – мы уехали за границу (тогда это выпадало очень немногим). И вот здесь я уже помню многое – как мы ехали в Москву (сентябрь 1930-го), мои первые впечатления от столицы, – включая храм Христа Спасителя, который еще не был взорван, и Красную площадь. И «главную улицу» – Тверскую (старую, узкую, извилистую, еще до реконструкции). Она показалась мне поменьше и поплотнее одесской «главной» – Дерибасовской. И наконец, роскошный международный вагон, граница (тогда – Негорелое), Варшава – там поезд стоял довольно долго, и мы выходили в город, который меня изрядно разочаровал, – и вот уже Берлин.

Я не хочу отвлекаться на бытовые, житейские стороны своего зарубежного детства. Затрону только то, что повлияло на становление моих политических взглядов, моего мировоззрения. Жил я в Германии с 1930 по 1935 год – в переломное для этой страны время, в пору великой депрессии, прихода к власти Гитлера, становления фашизма. Конечно, я был мал – приехал семи, а уехал двенадцати с половиной лет. Но многое понимал: семья была очень политизированная, отец, его друзья говорили в основном о политике, я уже знал немецкий язык, что-то читал, слышал по радио, видел на улицах и в кинохронике. Последний же год, когда я, двенадцатилетним, учился в немецкой школе в Гамбурге, видел драматическое развитие политических событий прямо здесь, в классе, где учились дети из самых разных семей – от коммунистов до фашистов. Все это я запомнил на всю жизнь. Может быть, именно возраст делал и впечатления, и воспоминания очень свежими и непосредственными.

Но опять я не хочу приводить эпизоды. Перейду прямо к обобщениям. Что дала мне, уже взрослому, эта пятилетняя жизнь за рубежом в детстве?

Во-первых, трезвое представление о Западе, а если говорить нашим идеологическим языком – о капитализме. Я на всю жизнь получил иммунитет от двух крайностей. Первая – сугубо негативные представления о капитализме, о западном обществе, включая «обнищание» пролетариата, «имманентно присущее» этому обществу презрение к туманным идеалам и духовности и т. д. И вторая – идиллическое представление об этом обществе как о царстве всеобщего благосостояния, свободы и справедливости. К тому же гуманного и миролюбивого, как белый голубок.

(Отвержение этих двух крайностей где-то отложилось, и когда, уже взрослым, с 1960 года я начал часто ездить на Запад, мне ничего не надо было «переосмысливать», я не приходил в беспочвенные восторги и вместе с тем не имел поводов для глубоких разочарований. Ибо в общем и целом представлял себе, что такое «другое» общество, знал его свет и тени, принимал его как реальность, как факт и потому, что называется, «не отвлекаясь», мог сразу спокойно браться за дело, ради которого приехал; это не значит, что я оставался равнодушен как к достижениям Запада, так и к некоторым неприглядным аспектам его образа жизни.

Не могу не вспомнить в этой связи такой эпизод. В начале семидесятых годов на последнем курсе института мой сын был направлен на несколько месяцев на практику в советское представительство при ООН в Нью-Йорке. Через пару недель с моим товарищем он передал письмо, где писал о своих первых впечатлениях. Восстанавливаю по памяти – письмо, конечно, не сохранилось, хотя оно мне запомнилось. Он писал: «Впечатлений множество. Много интересного, хорошего. Но я к нему был подготовлен, видел на фото или в кино, читал, словом, ожидал. А вот когда я увидел Бауэри, Гарлем, другие нью-йоркские трущобы – это меня поразило. Хотя, поразмыслив, подумал – и об этом читал, и об этом нам говорили. Но именно потому, что главный упор делался на всем плохом – мы в душе этому плохому не верили. При нашей неловкой, неумелой пропаганде, наверное, было бы полезным, чтобы побольше людей Америку увидели своими глазами».

Я солидарен с таким суждением. Правда, в последние годы в связи с очень заметным ухудшением ситуации у нас в стране оно начинает терять свою силу. Ибо многое мы узнали, увидели у себя дома: бездомных и нищих, собственные трущобы и районы, ставшие смертельно опасными из-за преступности. Равно как быющую в глаза поляризацию общества: горстка богатых и очень богатых – и масса бедных и очень бедных.)

Ну, а во-вторых, я своими глазами увидел фашизм, увидел предметно. И в быту – на отношениях с домохозяйкой в Берлине, вдовой, у которой мы снимали две комнаты, а точнее – на отношениях с ее сыном, несчастным, заискивающим безработным, потом штурмовиком, постепенно все более наглевшим, так что, несмотря на попытки что-то наладить очень заинтересованной в деньгах, а значит, и в жильцах госпожи Барш, нам пришлось досрочно сменить

квартиру. И на настроениях и судьбах немецких знакомых отца, растущих среди них страхе, растерянности перед неминуемо надвигавшимися бедами.

И в немецкой школе, и на улицах я сталкивался с зоологической ненавистью к себе просто потому, что я советский (пару раз, когда я шел по улице с приятелем и громко разговаривал по-русски, нас обзывали последними словами, а один раз – нарвались на ватагу подростков из семей белоэмигрантов – изрядно побили), видел озверевший милитаризм и фашистские сборища, митинги и факельные шествия сотен тысяч людей, потерявших человеческий облик, видел антисемитские бойкоты, а потом и погромы принадлежавших евреям лавок и многое другое.

Домой, в Советский Союз, мы возвращались в сложное время. Хотя позади остались голод и острая нужда периода коллективизации и материальные условия улучшились. Несмотря на то, что после убийства Кирова над страной сгустились тучи массовых репрессий, осенью 1935 года ситуация еще не была столь тревожной, какое-то время даже царила эйфория, предполагалось, что грядет демократизация (вскоре началось обсуждение новой Конституции) и т. д.

Как я тогда воспринял жизнь на родине? Должен прежде всего сказать, что в наших зарубежных советских колониях обстановка была не совсем обычная. Тогда в стране, в партии было еще очень много искренних энтузиастов, и в основном люди из их числа направлялись на службу за рубеж. Такая среда не могла не влиять и на меня, моих сверстников. Мы были убежденными патриотами, патриотами не только страны, но и общества, идеи.

Это сняло для меня многие психологические проблемы, которые могли бы возникнуть при возвращении – возвращении не только на родину, это всегда радость, но и к очень примитивному, часто убогому быту. Жили мы в Москве или в одной маленькой комнате, или в квартирах коллег отца, уехавших в командировку за границу. Лишь в 1938 году получили в коммуналке свои две крохотные комнаты, а было нас тогда уже четверо. Возвращались к жизни очень скудной, бедной, хотя до голода в те годы дело не доходило.

Я жил, как мои сверстники, не очень много думая об ухудшавшейся политической обстановке, учился, развлекался, занимался спортом, обрел немало друзей, некоторых сохранил до сих пор. Хотя не ощущать происходившего вокруг мы не могли – вскоре начались массовые репрессии, через некоторое время затронувшие, как я уже говорил, и мою семью. И моих друзей. И моих одноклассников. Сказались репрессии и на всем обществе. И на сознании, психологии каждого из нас – некоторые ломались, уходили в себя, озлоблялись, другие начинали всего бояться, становились конформистами, отучались самостоятельно думать, третьи давали себя использовать, становясь добровольными доносчиками либо платными осведомителями.

Оглядываясь назад, я пытаюсь оценить, как все это сказалось на мне. Наверняка это сделало меня более осторожным, выработав не только адекватные формы поведения, но и определенные политические инстинкты. Но я не сломался, не утратил способности самостоятельно мыслить (впрочем, способность эта развилась по-настоящему много позже). И хотя не мог не позволить себя в какой-то мере оглупить, все-таки не стал идиотом, не дал полностью забить себе голову идеологическим мусором. И главное, как я считаю – да не примет это читатель за нескромность, – сохранил честь. Я никого – ни тогда, ни после, на протяжении жизни, – не предал, ни на кого не донес, ни в одной проработанной кампании, травле людей не участвовал. Это не такая уж большая заслуга, конечно. Но все-таки хоть что-то – во всяком случае, по меркам последних десятилетий.

В наших политических дебатах сейчас нередко муссируется вопрос о различии между тоталитаризмом и авторитаризмом. Мне больше всего понравилось такое определение: авторитаризм – антипод демократии, он заставляет безусловно подчиняться воле правительства, не позволяет людям должным образом участвовать в политике, на нее влиять. А тоталитаризм, в дополнение ко всему этому, требует, чтобы каждый активно участвовал в усилиях по подав-

лению и оглуплению людей и самого себя. И это, могу заверить читателя, было именно так, во многом на этом держалась вся система диктаторской власти, установленной Сталиным (и в той или иной мере пережившая его).

Павлик Морозов, то ли реально существовавший, то ли придуманный мальчик, написавший политический донос на родителей и якобы (а может быть, и действительно) за это убитый, стал национальным героем.

Практика была куда изобретательнее и шире. Следователи заставляли доносить на других и на самого себя. На партийных собраниях обязательным было покаяние. А отказ от участия в кампании травли очередных «врагов», «уклонистов» или «сторонников», отказ признать осуждаемые и критикуемые взгляды ложными часто стоил если не свободы, то карьеры, даже работы. В таких условиях, естественно, по-иному оценивалась и порядочность. Иногда подвигом становились не только хорошие поступки, но и воздержание от плохих, когда от тебя их ждали или даже требовали.

Но я несколько отвлекся, хотя все это на тему: чтобы правильно оценить послесталинскую историю, важно понимать тяжесть бремени, от которого надо было освободиться, в том числе бремени нравственного.

Возвращусь, однако, к своей юности. Она кончилась внезапно, в один день – 22 июня 1941 года, когда гитлеровская армия напала на Советский Союз.

И я думаю, будет уместно здесь несколько подробнее рассказать о своей короткой, но, наверное, наложившей печать на всю мою жизнь военной карьере. Печать в том смысле, что благодаря военной службе я быстрее стал взрослым, обрел больше независимости, самостоятельности в суждениях и решениях. Возможно, это помогло мне стать и смелее – что в жизни меня не раз ставило под дополнительные удары: они нередко обрушивались на меня и приводили к неприятностям. Но в конечном счете пошли на пользу.

Ибо смелость – неременная предпосылка творческого склада ума, и если я чего-то достиг в жизни, то прежде всего благодаря ему. И говорю я здесь о вполне конкретных, даже житейских делах. Если бы я более скованно и ортодоксально думал, а значит, и писал, скорее всего, не обратил бы на себя внимание в журналистском мире, а позднее, что сыграло в моей жизни немалую роль, – внимание О.В. Куусинена, а вслед за ним других серьезных и влиятельных людей, включая некоторых лидеров страны, уже понявших необходимость перемен.

Хотя должен оговориться: смелость фронтовая не всегда адекватна гражданской. Не раз геройские перед врагами на фронте ребята оказывались жалкими трусами и конформистами перед начальством. Помню даже анекдот: «Солдат, ты немца боишься? – Нет. – А кого боишься? – Старшину». И не только потому, что от него зависит твое повседневное благополучие: лишняя пайка хлеба и порция каши, новые портянки, а то, если сильно повезет, и новые сапоги. От него еще больше, чем от врага, на фронте зависят само твое существование, свобода и жизнь.

Но, оглядываясь назад, должен сказать, что самым главным было даже другое: вступать в сознательную жизнь мне пришлось в очень трудный период нашей истории, и то, что я был на войне, помогло мне сделать это с чувством выполненного долга, без комплекса неполноценности. Я был спокоен, уверен в себе, понимал цену многим вещам, поскольку уже с восемнадцати лет воочию видел и отвагу, и трусость, и смерть, и кровь, и товарищескую преданность, и предательство.

При этом хочу сразу же откровенно сказать, что мне с «моей войной» очень повезло. И не только потому, что остался жив, хотя и в моем случае это чудо, выигрыш по лотерейному билету; убить могли много раз немцы, да и шансы погибнуть от открытой формы туберкулеза, которым я заболел на фронте, были почти девяностопроцентные.

Повезло, во-первых, потому, что риск, а также физические лишения были в ракетной артиллерии все же меньшими, чем в танковых войсках в противотанковой или полковой артил-

лерии. Правда, у себя в полку я ходил в весьма смелых и рискованных: большую часть фронтовой жизни провел в артиллерийской разведке, а это значит – на передовой, часто в боевых порядках пехоты, при наступлении порой и впереди нее, пока не наткнешься на оставленную немцами засаду. Но тем не менее в артиллерии было менее опасно, чаще выживали, хотя и у нас многие погибли или были ранены.

Во-вторых, по-настоящему воевать мне довелось не в самое плохое (хотя и не в самое хорошее) для Советской армии время. В частности, не пришлось пережить больших отступлений, паники, окружений и сокрушающих дух поражений (у многих, чуть старше меня офицеров, с которыми я воевал, они надломили или совсем сломали психику) – позора нашей армии, государства, строя, который некоторые ревнителю старого безуспешно пытаются отмыть до сих пор. Я оплакиваю вместе со всеми своими согражданами эту трагедию – она отнюдь не из тех, которые нельзя было избежать. Я разделяю боль всех и каждого, кто попал тогда «под колеса», и сделаю все, что могу, чтобы восторжествовала справедливость и с попавшими в плен или пропавшими без вести жертвами бездарного руководства перестали обращаться как с предателями. Но я благодарен судьбе, что она меня избавила от всех испытаний первых месяцев войны. И в то же время, не скрою, горжусь тем, что мне не пришлось собирать одни лавры в виде множества взятых городов и освобожденных стран, а также щедрого дождя наград, посыпавшегося к концу войны. Я видел войну все-таки в ее очень тяжелых измерениях – от Москвы осени 1941-го и очень трудного, полного риска 1942 года до 1944-го, – когда большой, часто неоправданно большой кровью, тяжело, но все более уверенно мы начали наступать, вернее, «контрнаступать», освобождая страну – от Курской дуги до Днепра, а потом за Днепр.

Но по порядку.

Почему и как я попал в армию?

Должен честно сказать, что в принципе я никогда не был «военным человеком», «военной косточкой», не мечтал о военной карьере. Но время налагало очень сильный отпечаток на каждого из моих сверстников, на каждого из нас.

Конечно, за всех говорить не возьмусь. Но что касается меня самого, то без советов и влияния семьи, друзей я уже с осени 1940 – зимы 1941 года пришел к выводу, что дело идет к войне и мне надо думать о своем будущем в соответствии с этой реальностью.

С начала 1941 года – для меня это было вторым полугодием последнего класса в школе – я определился: надо идти в военное училище. Поначалу меня почему-то привлекало Ленинградское училище связи. Я даже, помнится, послал туда письмо. Но потом приехал мой дядька, брат отца, – в 1941 году майор, начальник артиллерии танковой бригады, дислоцированной в Брест-Литовске. Он был заочником Академии имени Фрунзе, прибыл сдавать экзамены и меня уговорил идти не в связь, а в артиллерию.

Я подал документы в 1-е Московское артиллерийское училище имени Красина и был туда принят уже 21 июня 1941 года. Вначале оно специализировалось на тяжелой артиллерии, а затем было перепрофилировано на «гвардейские минометы», то есть на реактивную артиллерию, получившую в народе название катюш.

Но пока мы этого не знали. Зачехленные боевые установки катюш мы принимали за понтоны, а занимались учебой с 122-мм пушками и 152-мм пушками-гаубицами, хотя что-то подозрительное на территории училища – оно было как раз на углу Беговой улицы и нынешнего Хорошевского шоссе – мы замечали. Уж очень много «понтонных» появлялось у нас. А потом они внезапно исчезали.

В середине октября 1941 года обстановка в Москве обострилась. Мы, отгороженные от всего мира забором училища, ощутили это не сразу, хотя к боевой обстановке были уже приучены. Приучены бомбежками Москвы, начавшимися с июля 1941 года. Мы тушили пожары, стояли в оцеплениях, ловили «ракетчиков», якобы указывавших немецким пилотам цели (ни одного пойманного диверсанта такого рода я не видел), а то и просто спасались в траншеях.

Особенно досталось в первую бомбардировку, когда рядом с училищем на рельсах Белорусской железной дороги горели и всю ночь рвались несколько эшелонов с боеприпасами.

Так вот, в один из тусклых, уже холодных октябрьских дней всю нашу батарею построили у штаба и по одному начали вызывать в кабинет командира. Там сидела комиссия – трое военных, двое штатских; с каждым из нас обстоятельно разговаривали. Дошла очередь и до меня. Спросили: «Товарищ курсант, если вам доверят секретную технику и возникнет угроза, что она попадет к врагу, сможете ли вы ее взорвать, рискуя собственной жизнью?» Я сказал: «Конечно смогу».

Меня отпустили. Потом из строя вместе с семью другими курсантами отвели в угол огромного двора училища, где за заборчиком стоял тот самый «понтон». И мне объявили, что я назначен командиром орудия, а остальные – мой расчет. Сняли с «понтон» чехол, под ним увидели некое подобие восьми рельсов, точнее, двутавровых балок, насаженных на конструкцию, которая двигалась на станине вверх-вниз и слева направо. Показали снаряд (или мину) – называлось все это почему-то «гвардейским минометом», хотя речь шла о ракете. Показали, как стрелять (из кабины, опустив на лобовое стекло броневой щиток и прокручивая за ручку маховичок специального устройства). Показали и заложенные на станине два ящика тола (25 килограммов каждый), которые следовало в случае опасности взорвать. Уже потом, на фронте, я подумал: зачем при этом сидеть на них и демонстрировать героизм? Включатель электрического взрывателя можно было отвести подальше в окоп или воспользоваться бикфордовым шнуром, а вовсе не кончать с собой. Но таким уж было время, оно требовало самопожертвования, а может быть, хотели вместе с секретной техникой уничтожать и тех наших солдат, которые ее знали.

На следующий день мы отправились куда-то по Волоколамскому шоссе, а потом – в сторону. И где-то стреляли. Я так и не понял – по врагу или это была учебно-демонстрационная стрельба (на огневой позиции присутствовала группа офицеров). Но сам залп никогда не забуду: оглушающий шум (сидишь ведь прямо под стартующими ракетами), огонь, дым, пыль. Машина содрогается при пуске каждой ракеты, а их на одной машине было шестнадцать.

А уже на следующий день нас вернули в училище, отобрали катюши, выдали карабины, и с утра до вечера пошла строевая подготовка. «Ать-два!», «Шире шаг!», «Смирно!» и т. д. и т. п. Мы не могли понять, чего от нас хотят. Другие рядом, под Москвой, воюют (у нас на территории формировались «коммунистические батальоны» и ополчение, которые уходили пешим маршем на фронт – до него было километров сорок – пятьдесят), а мы занимаемся ерундой! И никому не приходило в голову, что готовится парад.

7 ноября рано встали, пошли на завтрак – он был праздничным, дали даже белый хлеб и масло. Но не успели поднести ко рту – тревога. Построились и пошли. Прямо на Красную площадь – училище открывало парад. Я был правофланговым где-то в середине батальона. Волновался, даже немножко сбился с шага, но быстро исправил ошибку – еще до Мавзолея.

Запомнилось: низкая облачность (потому, наверное, и решились проводить парад), снег. Мы были в касках, снег таял в местах, где ободок крепился к стали, и потом замерзал. «В белом венчике из роз...» «Двенадцать» Блока были свежи в памяти. Подумал: праведники или мученики?

И совсем из другой области: всем участникам парада (как нам объявили – по приказу наркома, то есть Сталина) дали по сто граммов водки – половина граненого стакана. Мне тогда казалось – очень много...

Потом был получен приказ перевезти училище в Миасс (на Урал), и там под Новый год я закончил его лейтенантом. После этого – формирование боевой части, куда я был направлен, – вначале в Татарии, около городка Арск, потом в Москве. И наконец – эшелон на фронт. По дороге нас дважды бомбили, и именно здесь, на железнодорожных путях, мы понесли сильные потери.

А теперь я перенесусь в год 1990-й, май. Уже полгода я веду публичную полемику (вначале – с трибуны II съезда народных депутатов СССР, затем – в печати) с некоторыми нашими адмиралами и генералами (и даже одним маршалом) о сокращении военных расходов и вооружений и военной реформе. Генералы на меня злы как черти. Однажды вечером, 17 мая (я сижу с одним из своих заместителей и зашедшим гостем у себя в кабинете), звонит «вертушка» – телефон правительственной АТС. Снимаю трубку – чей-то голос: «Георгин Аркадьевич?». Отвечаю: «Да». Собеседник: «Я знаю, что у вас завтра день рождения, хотел бы поздравить, пожелать здоровья и успехов». Пауза. Я говорю: «Извините, не узнаю». Голос: «Это Дмитрий Тимофеевич Язов (то есть министр обороны, – Г. А.). У меня для вас подарок. Передо мной книга, в которую Центральный архив нашего министерства собрал документы или их ксерокопии, относящиеся к вашей боевой, военной биографии и истории вашего полка. Как вам передать?» Диктую адрес, говорю, что это недалеко от Министерства обороны. Отвечает: «Ну что ж, может быть, завтра и завезу сам».

И завез рано утром, меня еще не было на работе, так что приняла подарок секретарь. Подарок для меня действительно дорогой. Хотя присутствовавшие при моей телефонной беседе с Язовым гадали: что бы значил этот жест? И более конкретный вопрос: зачем военные товарищи по моему поводу полезли в архив? Не за «компроматом» ли? Я эти догадки отмел. Думаю, есть какие-то душевные узы бывших фронтовиков. А Язов – мой ровесник и воевал примерно в тех же чинах.

Все это я рассказал, чтобы было понятно, откуда у меня документы, которые буду цитировать. Так вот, из «Журнала боевых действий» 221-го отдельного гвардейского дивизиона (в нем я начал службу начальником разведки): «13 марта 1942 г. Разъезд № 65 Калининской ж.д. – убит машинист паровоза и сержант Владимиров из 2 батареи, где и похоронены, ранены старшина 2 батареи Фролов и гвардеец Довголюк, которые отправлены в госпиталь в г. Осташков».

«15 марта 1942 г. в 19.00, разъезд № 84, убитых и раненых нет, разбита боемашина».

Один убитый и двое раненых в первую бомбежку попали, между прочим, в беду, делая то же, что и мы все, – сбрасывая с платформ невзорвавшиеся небольшие, чуть больше ручной гранаты, бомбочки, которыми немецкие самолеты буквально засыпали эшелон. Одна из них взорвалась у кого-то в руках. Так что «моя война» могла закончиться уже в тот день и я бы даже не доехал до фронта...

Ну а потом – Калининский фронт, Степной и Воронежский, 1-й и 2-й Украинские. Началом был долгий тяжкий год оборонительных и отвлекающих наступательных боев в Смоленской области. Потом – наступление после Курской битвы до Днепра, форсирование Днепра южнее Качена, а потом, в декабре 1943 года, – у Черкасс (в 1945 году мне присвоили звание почетного гражданина этого города)... Там я тяжело заболел туберкулезом легких и был отправлен в тыл. Летом 1944-го был демобилизован как инвалид Отечественной войны II группы.

Как я воевал? Как мог. Но, судя по документам, переданным мне Д.Т. Язовым, неплохо. Может, и нескромно, но о войне, мне кажется, все же можно сказать, и я приведу отрывки из боевых характеристик.

Из «боевой характеристики», представленной командованием дивизиона 25 августа 1942 года (первая такая характеристика в деле): «Батарея, которой командует т. Арбатов, за период действий по борьбе с немецкими оккупантами показала хорошие результаты. Не было случая, чтобы фашистские гады уходили из-под огня батареи. Организацию, распоряжение и руководство при выполнении боевых задач т. Арбатов проделявает грамотно и культурно. 6 августа его батарея уничтожила свыше роты пехоты противника и одну минометную батарею. Личным примером храбрости учит подчиненных в бою».

Из «боевой характеристики» от 22 октября 1942 года: «За время своего пребывания в дивизионе т. Арбатов проявил себя как храбрый, стойкий, дисциплинированный, подтяну-

тый, культурный командир. В боях с немецкими захватчиками т. Арбатов показал образцы мужества, при выполнении дивизионном боевых задач по уничтожению гитлеровских бандитов лично руководил дивизионным огнем. Культурный, знающий командир-артиллерист, владеющий в совершенстве своим делом, требовательный к себе и своим подчиненным, пользуется огромным авторитетом среди всего личного состава дивизиона. Тов. Арбатов рекомендуется на должность командира дивизиона». Это было лестное представление – в мои девятнадцать лет! Но назначения этого я тогда не получил, как узнал потом, из-за того, что в тюрьме как «враг народа» сидел мой отец. Впрочем, поскольку все это было от меня в секрете и саму характеристику-представление я впервые прочел в 1990 году, я даже не имел повода для обид и разочарований.

Из «боевой характеристики» от 14 апреля 1943 года: «С работой справляется, при выполнении боевых заданий разведки (я был в то время начальником разведки полка. – Г. А.) дает ценные данные, по которым не один раз давались залпы и уничтожена не одна сотня фашистов». И вместе с тем: «...недостаточно дисциплинирован, мало работает над собой». Но в заключение: «Авторитетом среди подчиненных пользуется, идеологически выдержан, морально устойчив». Я усиленно старался вспомнить, почему единственный раз – попреки. И потом, с помощью однополчанина, вспомнил. Как-то на переформировании (получали новую технику) делать было нечего, и мы вчетвером играли в карты – в преферанс. В комнату зашел дивизионный комиссар (он и подписал характеристику) – старый сухарь «с подпольным стажем», который долго прорабатывал нас за то, что мы – «картежники». И вот не удержался – вписал пару плохих фраз в боевую характеристику.

И последнее – на полгода позже, подписанное не комиссаром, а командиром полка, – представление к награде, «наградной лист» от 10 сентября 1943 года: «Энергичный, смелый и бесстрашный разведчик. За период пребывания в этой должности дал много ценных данных о противнике, по которым полк вел огонь. 4 сентября, находясь на передовом наблюдательном пункте, установил основные районы скопления противника в деревнях Гусань и Пилипенки, по которым полк произвел два залпа. После залпов наши части успешно продвинулись вперед и заняли эти пункты. 5 сентября Арбатов под сильным огнем противника, на открытой местности, презирая смерть, пренебрег опасностью, точно установил передний край обороны, после чего был дан залп. Наши части после залпа овладели высотой и продолжали продвигаться вперед».

Потом меня ожидали болезнь, долгие месяцы госпиталя, в июле 1944 года демобилизация. А полк, после Черкасс, уже без меня пошел на Корсунь-Шевченковскую операцию, на Бельцы и Яссы, Бухарест и Клуж, Сегед, Будапешт, Брно. И стал он Черкасским Краснознаменным, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 17-м гвардейским минометным полком.

Но прошу читателя извинить за невольные сантименты.

Сейчас же хотел бы сказать еще несколько слов о той роли, которую эти годы сыграли в моей последующей жизни. Конечно, они оставили эмоциональное, даже иногда сентиментальное отношение ко многому, с чем была связана военная служба в те годы – верности долгу, боевому товариществу, готовности бороться, пока хватает сил, – и в то же время демистифицировали армию, военную службу да и Отечественную войну, лишили их культивировавшегося у нас потом сверхромантического ореола. Ибо в армии я хорошо узнал и неприглядные стороны военных порядков (хотя тогда армия была у нас много чище, нормальнее, чем сейчас), в частности, какой простор они открывают для самодурства, унижения старшим по званию младшего, солдафонства, процветания серых, бездарных людей, протекционизма и т. д. Достоверно узнал, имея какие командные кадры (до полковника – с более высокими чинами у меня контактов не было, хотя там дело, видимо, обстояло еще хуже), мы вели войну, какие из-за этого несли лишние потери, вообще во что нам обходились победы.

В результате этого опыта и вопреки тому, что говорили обо мне мои оппоненты из числа генералов, критиковавших мои статьи о необходимости более радикальных сокращений военных затрат, я не стал «врагом» вооруженных сил, врагом армии. Но не мог уже говорить о них с воспитывавшимся долгие годы «придыханием», а потому, когда все послевоенное развитие и его венец – кризис восьмидесятых – девяностых годов – породили в армии и руководстве ею так много негативных вещей, не мог не выступить и с критикой. Особенно после того, как – столь явно – интересы военно-промышленного комплекса начали приходить в столкновение с интересами страны, народа.

Это привело к упоминавшемуся конфликту с частью генералитета, в котором противники мои проявили крайнюю агрессивность, а некоторые действовали в классическом для сталинских времен стиле политического доноительства и навешивания ярлыков. Я к этому был готов, когда начинал полемику, и своим решением вступить в нее тоже был вполне удовлетворен. Это помогло начать первую за многие годы публичную дискуссию по военным и военно-политическим вопросам и в то же время еще раз выявить, что и у нас находит свое проявление корыстный интерес военно-промышленного комплекса, что возможны попытки подчинить ему политику.

Сегодня я убежден, что демилитаризация нашего общества, как и демилитаризация международных отношений, является не только важнейшей предпосылкой прогресса, но и условием выживания человечества. Интерес к этим темам у меня, таким образом, давний. Собственно, первые сколь-нибудь творческие, а не описательные мои работы (статья и брошюра, написанные в 1955 году, то есть после смерти Сталина, когда уже можно было хоть о чем-то смелее говорить, но еще до XX съезда КПСС, снявшего некоторые запреты на творчество) были в значительной мере посвящены историческим судьбам милитаризма, его обреченности с точки зрения истории и ущерба, наносимого интересам общества.

Итак, в июле 1944 года я был выписан из военного госпиталя, стал инвалидом войны II группы, получал продовольственные карточки и пенсию около 900 рублей в месяц (90 рублей по деньгам до 1992 года – в тот момент достаточно, чтобы выкупать то, что полагалось по карточкам, а по рыночным ценам недостаточно, чтобы купить бутылку водки). И передо мной встал вопрос: что делать дальше? Семья жила небогато, но меня поддержать могла, и все вместе мы решили – учиться.

Собственно, об этом я думал давно, даже подобрал себе институт (точнее, факультет Московского университета). Еще на фронте, осенью 1943 года, в газете «Известия» прочитал объявление, что в университете открывается факультет международных отношений, и вслух, при товарищах, сказал: «Вот куда я после войны пойду». Они подняли меня на смех (по-дружески, конечно) – такими далекими казались и конец войны, и учеба, да и выживешь ли?

Сложилось все, однако, так, что год спустя я подавал документы на этот факультет (через несколько месяцев он стал самостоятельным институтом при Министерстве иностранных дел СССР). И был принят.

Начались студенческие годы – наверное, для каждого полные самых приятных воспоминаний. Я, как и большинство моих сверстников, – не исключение. Хотя годы были голодные и бедные. А к тому же разочаровали всех, кто надеялся, что уж после такой войны, после такой проверки народа на верность, на преданность Сталин пойдет на какие-то послабления и в экономической, и в политической, и в культурной сфере. Ничего подобного не произошло – очень скоро после Великой победы начались новые кампании проработок и репрессий.

В институте это ощущалось с особой силой – нас готовили для работы в области внешней политики, за рубежом или с иностранцами. Потому и надзор за нами был свирепейший. Я не помню таких длинных, дотошных анкет, как те, которые ежегодно приходилось заполнять в институте. И практически каждый год какую-то группу студентов арестовывали – когда уж очень усердно ищешь, почти всегда найдешь какие-то «грехи», тем более что по тогдашним

правилам многого находить и не требовалось. «Вольные» разговоры на политические темы или слишком откровенный дневник, найденный осведомителем в общежитии, даже случайный контакт и беседа с иностранцем, затеянная неосмотрительным студентом, пожелавшим проверить, достаточно ли он уже знает язык, чтобы вот так поговорить, – этого было вполне достаточно для ареста и осуждения.

Почему Сталин вел себя так и после войны? Моя догадка: он, человек догматического склада, помнил, что массовое пребывание русских офицеров и солдат за рубежом после победы над Наполеоном родило настроения недовольства жизнью на родине и вольнодумство. И это было питательной почвой для оппозиционного движения, а потом и для попытки первого (если не считать крестьянских бунтов) в истории России революционного выступления – восстания декабристов. Насколько я могу судить, после Второй мировой войны таких бунтарских настроений среди возвращающихся из-за рубежа военнослужащих не было. А то, что они увидели другую, более благоустроенную жизнь, так это могло быть очень полезно – рождалось желание улучшить условия в собственной стране. Но такой ход мысли был, видимо, глубоко чужд Сталину. В общем, после войны продолжался тот же сталинизм с новыми страшными преступлениями – репрессиями в отношении целых народов, в отношении возвращавшихся из гитлеровских концлагерей (прямоком – в наши) военнопленных и т. д., а также новых уродливых черт, вроде возведенного Сталиным в государственную политику антисемитизма. И особенно отчетливым стало стремление оглупить народ, лишить его знаний об обществе и политике (до такой убогости наши общественные науки, пожалуй, раньше не низводились), открыть поход и против многих естественных наук (генетики, кибернетики и др.). И конечно же втиснуть в жесткие, уродующие ее рамки великую культуру великого народа. Все это на фоне заметно выросшего культурного и образовательного уровня населения – появились новые, грамотные, овладевшие основами знаний поколения. Может быть, это больше всего и пугало Сталина – ведь с народом, на 80 процентов неграмотным, как это было после революции, он себя, наверное, чувствовал много увереннее.

Вот в такой сложной обстановке оказалось мое поколение. Хотя все было неоднозначно. Образование мы получили совсем неплохое. Во всяком случае, в институте, в котором я учился, таких профессоров, как тогда, никогда больше не появлялось. Это были лучшие из сохранившихся представителей старой, блестящей плеяды российских ученых (многие из них вскоре подверглись гонениям).

Став студентом осенью 1944 года, я сделал выбор – специализироваться на изучении США. Мои американские знакомые меня потом не раз спрашивали: «Почему?» Мне кажется, это было вполне естественным. Шла война. США были нашим союзником, точнее, даже главным союзником. Отношение к США было у большинства моих соотечественников теплое, дружеское. Ну а кроме того – это понимали даже многие первокурсники, – США и СССР будут играть особую роль в послевоенном мире. Да и страна сама по себе была, бесспорно, очень интересной. Вот такие простые соображения и подтолкнули меня к первому шагу на долгом пути к тому, чтобы сделать изучение США своей профессией (full-time job). Пути тем более долгом, что в течение первых почти двадцати лет после окончания института я занимался Америкой только «для души», в свободное от другой работы время.

Пока же предстояло учить английский язык и массу других предметов и наук.

Но при распределении на работу после института в полной мере дала себя знать бюрократическая система, в которую он был вписан. Хотя я был одним из лучших студентов на курсе – получил диплом с отличием, за все пять лет на экзаменах – без единого срыва – достаивался только высшей оценки да еще был фронтовиком, офицером, имел боевые награды, – меня никуда на работу не направили. Председатель комиссии (это был, насколько помню, тогдашний заведующий управлением кадров МИД СССР некто Силин) дал прямо понять, что загвоздка в

том, что был арестован отец. В ответ на мое недоуменное замечание, что его ведь освободили и реабилитировали, он только пожал плечами.

Но, как потом оказалось, мне повезло. Последние полтора-два года, чтобы пополнить свой скудный бюджет, я прирабатывал рецензиями на книги, рефератами и переводами в только что открывшемся Издательстве иностранной литературы. И, видимо, его работникам приглянулся – они написали в институт письмо с просьбой направить меня в их распоряжение.

Вот так я туда и попал. И никогда об этом не жалел. Главной моей обязанностью было читать американскую, английскую и немецкую политическую, экономическую и философскую литературу, чтобы отобрать наиболее интересное для перевода и реферирования в «закрытых» (предназначенных для руководства) изданиях. За всю свою остальную жизнь я не прочел столько политических книг, сколько за эти четыре года.

Издательство, между прочим, оказалось довольно необычным учреждением. Создано оно было в 1946 году по инициативе Сталина. Главная идея – и это для меня одно из оснований считать, что в конце войны и сразу после ее окончания он не планировал конфронтации, надеялся сохранить отношения какого-то сотрудничества с Западом, – была в том, чтобы открыть более широкую дверь в Советский Союз знаниям, накопленным в мире, а также мировой культуре.

Издательство замышлялось как гигант: четырнадцать редакций по всем отраслям знаний – от физики и математики до экономики и международных отношений, а также редакция художественной литературы. Оклады работников были в два-три раза выше, чем в других издательствах, включая Политиздат, напрямую подчиненный ЦК КПСС.

Издательству щедро ассигновали конвертируемую валюту – мы выписывали больше периодики и книг, чем кто-либо в СССР.

Но и добавлю: директором был назначен довольно известный в то время ответственный функционер из аппарата ЦК КПСС, восходящая «идеологическая звезда» Борис Сучков.

К тому времени как я начал внештатно работать в издательстве и познакомился с его работниками (для этого надо было пройти специальную процедуру «засекречивания», допуска к секретным документам и литературе) – по-моему, это был конец 1947-го или начало 1948 года, – там уже многое слиняло, поблекло, стало ясно, что первоначальные планы не реализуются, во всяком случае в изначальном виде. Изменились международная ситуация и политическая обстановка в стране. Шла «охота на ведьм», все свирепее становилась цензура. Выпускать зарубежную литературу общественно-политического характера становилось все сложнее. Вместо открытой двери получилась замочная скважина – во всяком случае, в этих сферах знаний.

В довершение всего арестовали директора издательства Б. Сучкова (потом его, конечно, реабилитировали) и его заместителя С. Ляндреса (отца много позже ставшего известным литератора Юлиана Семенова). И стало издательство обычным учреждением, только что иностранной литературы там было больше да должностные оклады выше.

В издательстве я работал до 1953 года (мне там стукнуло тридцать лет, так что на место юности уже пришла зрелость). В том же году умер Сталин. О том, что последовало за его смертью, – ниже.

Заключая эту главу, хотел бы (интересно и самому) дать оценку тогдашнему состоянию собственного сознания. Кем, чем я был в этом смысле? Если использовать классификацию, которую придумал мой отец, я, конечно, не был фанатиком и не был карьеристом. Не стал я и циником. И без всяких оговорок признаю, не был «тайным», скрывавшим в чулане свои взгляды инакомыслящим, маскирующимся под лояльного коммуниста «прогрессистом» и «реформатором».

А был я, как и большинство других, «разумно верующим». Веру эту я получил в семье и в обществе, взошла она на дрожжах очень хороших, добротных идеалов социализма, восходящих своими корнями к раннему христианству. Видному австрийскому экономисту и ярому

противнику социализма, лауреату Нобелевской премии Фридриху фон Хайеку принадлежат слова: всякий, кто верит в социальную справедливость, уже наполовину социалист. (Привлекательность социалистической идеи, может быть, как раз и оказалась для нее величайшей опасностью, позволяя властолюбцам и тиранам так долго этой идеей прикрываться.)

В этом плане, повторяю, я не отличался от большинства людей моего возраста и моего круга. То, о чем я писал в этой главе – ранние непосредственные впечатления от Запада и фашизма, равно как от сталинских «чисток», задевших и нашу семью, война, неплохое образование, основательное знакомство с послевоенной зарубежной общественно-политической литературой, – может быть, лишь заложило какие-то основы, благоприятные для эволюции моих взглядов в направлении, которое много позже начали называть «новым политическим мышлением».

Помогло этому и то, что мой уровень критического отношения к сталинизму по причинам, о которых говорилось, был несколько выше среднего. Меньше у меня было и ложных представлений и предрассудков как насчет Запада, так и насчет своей страны. И меньше было иллюзий. Ну и, конечно, свою роль сыграло то, что мне позднее довелось поработать с интересными творческими людьми, в сильных творческих коллективах.

Пробуждение

Когда умер Сталин, я в Издательстве иностранной литературы буквально «доживал» свои дни. По причине ареста в январе 1953 года органами государственной безопасности одного из моих подчиненных (потом его, разумеется, реабилитировали) на мне висело строгое партийное взыскание за «притупление политической бдительности» – одно из самых зловещих для тех лет обвинений. Дело при этом стремительно разрасталось – от инстанции к инстанции мне «добавляли». Началось с указания и предупреждения, а дошло, на общем партийном собрании, проходившем в присутствии мрачно молчавших представителей Московского городского комитета партии и ЦК КПСС (его представляла – помню эту весьма красноречивую фамилию и сейчас – некая Мрачковская), до строгого выговора с предупреждением. И, как я узнал, райком планировал исключить меня из партии, а дирекция издательства – снять с работы. Если бы не крутая перемена политической обстановки, меня ждали бы эти, а может, и еще более суровые испытания. В 1953 году, похоже, начинался новый 1937-й – ставший для моей страны символом безжалостных массовых репрессий, уничтожения миллионов ни в чем не повинных людей.

Так что оставаться безразличным к политике я и по личным причинам не мог, даже если бы захотел. И потому тогдашнюю обстановку запомнил очень хорошо.

Люди опытные (в их числе был мой отец, скончавшийся год спустя) не могли не обратить внимания, в частности, на тональность состоявшегося осенью 1952 года XIX съезда партии, на некоторые темы и даже лексику отчетного доклада, с которым выступил Георгий Маленков. Они удивительно напоминали риторику 1937 года, когда тоже подчеркивалась необходимость укрепления партийной дисциплины и улучшения кадровой политики, усиления критики и самокритики. На размышления наводило и создание наряду с широким президиумом ЦК «узкого бюро» – явно замышлялись крупные перестановки в высших эшелонах власти.

В конце 1952 – начале 1953 года печать – особенно передовые статьи газеты «Правда», игравшие роль своего рода камертона для всей советской пропаганды, – начала пестрить терминологией 1937 года. Вновь и вновь повторялись заклинания о «капиталистическом окружении» (это в условиях, когда столь разительные перемены произошли во многих странах Европы и в Китае!), о «законе», согласно которому классовая борьба обостряется по мере успехов социализма, а действия врагов становятся все более изощренными.

Ну а после публикации в январе 1953 года статьи о «врачах-убийцах» и материалов, прославлявших «разоблачившую» их доносчицу Лидию Тимашук, в средствах массовой информации началась настоящая истерика, очень серьезно отравившая политическую и нравственную атмосферу в обществе, раздувавшая массовый психоз, бывший и в тридцатых годах постоянным спутником массовых репрессий. О том, что к ним уже велись соответствующие приготовления, я потом узнал от своих коллег по издательству, приглашенных, а точнее, возвращенных после смерти «великого вождя» на работу в органы государственной безопасности¹

¹ Один из них, так сказать, мой «подельник» – проходивший по одному со мной партийному делу Борис Манойлович Афанасьев, болгарский революционер и советский разведчик, изгнанный в 1948 году из разведки и потому оказавшийся в издательстве. Когда умер Сталин, его пригласили на прежнюю работу. Он вскоре, правда, вышел в отставку и еще много лет – вплоть до смерти – работал заместителем редактора журнала «Советская литература». В 1954 году он мне рассказал, что по своей короткой «второй» работе в КГБ достоверно знает: в начале 1953 года были получены предписания увеличить в связи с предстоящим «наплывом» заключенных «емкость» тюрем и лагерей и подготовить для перевозки заключенных дополнительное количество подвижного железнодорожного состава. По его же словам, разрешение бить и пытать подсудимых, после 1937 года в течение многих лет остававшееся в основном «монополией» центра, было снова дано всем. Словом, в последние месяцы жизни Сталина карательный аппарат готовился к новой волне массовых репрессий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.